

ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ПОВЕСТИ «ХОЛСТОМЕР»

РАННЯЯ РЕДАКЦИЯ (1861—1863)

Статья и публикация Л. Д. Опульской

Творческая история повести «Холстомер» представляет исключительный интерес. Произведение, почти завершённое в 60-е годы, было переделано, в значительной части заново написано в 1885 г. Естественно предположить, что сравнение редакции 60-х годов с окончательным текстом «Холстомера» может дать многое для характеристики идейной и художественной эволюции Толстого, наглядно свидетельствуя о том, как отразился перелом в мировоззрении писателя на его художественном творчестве.

По странному недоразумению считается, что такое сравнение неосуществимо. Так, С. А. Стахович, сообщая в своих воспоминаниях интересные сведения о печатании повести в 1885 г., одновременно уверяла, что большая часть рукописей «Холстомера» 60-х годов, которые взялась переписывать С. А. Толстая в 1885 г., «утрачена, и самая копия сохранилась не целиком»¹.

То же повторила в 1939 г. Л. М. Мышковская: «Рукописный материал не дает нам представлений о том, какой была вещь в законченном виде в 1860-х годах»².

В действительности сохранились все, до единого листочка, рукописи, с которых в 1885 г. С. А. Толстая делала общую копию повести, точно так же как полностью сохранилась и самая копия. Ранняя редакция «Холстомера», таким образом, не только нам известна, но известна по двум источникам: в авторских рукописях и в копии с них, сделанной С. А. Толстой. Возможно, что рукописи 60-х годов в какой-то части утрачены, однако до нас дошло все, что копировала С. А. Толстая и что, таким образом, было в распоряжении Толстого, когда он принялся в 1885 г. за окончательную работу над повестью.

Мы публикуем — впервые полностью — ту редакцию «Холстомера», которая была создана Толстым в 60-е годы и называлась «Хлыстомер». В т. 26 Юбилейного издания Толстого, вышедшем в 1936 г., были напечатаны лишь незначительные отрывки из этой редакции, попеременно с вариантами позднейшего текста, так что никакого сколько-нибудь цельного и ясного представления о том, что было создано Толстым в 60-е годы, эта публикация не дает.

* * *

В истории создания повести «Холстомер» много неясного. Когда Толстой начал писать свою «историю лошади» и пытался ли опубликовать ее в 60-е годы? Посылалась ли для этой цели рукопись В. А. Соллогубу? С каких рукописей была сделана С. А. Толстой копия всего написанного в 60-е годы? Как велики изменения и дополнения, внесенные Толстым в текст повести перед ее опубликованием в 1885 г.? На все эти вопросы в литературе о Толстом не удастся найти удовлетворительных ответов, хотя истории создания «Холстомера» посвящены две специальные работы³ и ряд воспоминаний⁴.

С документальной достоверностью устанавливается все сделанное в 1885 г. Отсюда и начнем распутывать сложный узел этой истории.

В начале 1885 г. С. А. Толстая взяла в свои руки ведение всех дел по продаже издания «Сочинений гр. Л. Н. Толстого» и, располагая доверенностью Толстого, приняла новое, пятое по счету издание. Она решила включить в него все написанные после «Анны Карениной» художественные произведения Толстого. Их было немного: Толстой в конце 70-х и в первую половину 80-х годов был занят преимущественно публицистическими работами. С. А. Толстая сетовала по этому поводу и надеялась, что Толстой вновь обратится к художественному творчеству. 18 января 1885 г., упоминая в письме к Т. А. Кузминской о запрещении цензурой трактата «Так что же нам делать?», она писала: «Статья эта в этом роде будет последняя, Левочке надо было высказаться, и после этого он, вероятно, стал бы писать рассказы, к чему он очень стремится» (АТ).

В апреле 1885 г. С. А. Толстая сообщала сестре, что «заказ на полное собрание сочинений сделала <...> по всей форме и печатать начала» (там же). В третьей части этого издания, вышедшей в свет во второй половине ноября 1885 г., был напечатан «Холстомер».

К тому времени «Холстомер» сохранялся в Ясной Поляне в разрозненных черновых рукописях. Задумав включить «историю лошади» в новое издание, Софья Андреевна тщательно переписала эти рукописи, из которых составилась вполне связный и сюжетно оформленный текст (если не считать конспективно набросанного конца).

Копия эта сохранилась полностью, хотя и в составе разных рукописей, куда она частично перекладывалась после исправлений Толстого. Копия сделана черными чернилами, аккуратным почерком, с большими пробелами между строками, оставленными для авторских исправлений. Время изготовления копии — лето 1885 г.⁵ Толстой начал работу над копией в сентябре. 23 сентября 1885 г. С. А. Толстая писала сестре: «У Левочки набралось <...> столько дела, как давно не было. Он без вас написал чудесную сказку⁶, прочел нам, и мы все пришли в восторг. Теперь он ее старательно переделывает и даст в мое издание. Потом он взял все те отрывки пересмотреть и поправить, которые поступят в новое издание: „История лошади“, „Смерть Ивана Ильича“ и другие. Через неделю их надо печатать, так как все подвигается к концу». 29 сентября она вновь сообщала Кузминской: «Он взял поправлять по вечерам историю лошади, на той неделе ее надо отдать в печать, стало быть дело очень к спеху» (АТ).

Таким образом, переделка «Холстомера» была осуществлена Толстым в течение нескольких недель. Работа проходила с большим подъемом. Гостившему в то время в Ясной Поляне М. А. Стаховичу Толстой «говорил, что после тяжелого труда, многолетних писаний философских статей, начав писать литературную вещь, он легко и вольно чувствует себя и, точно купаясь в реке, размашисто плавает в свободном потоке своей фантазии»⁷. Копия, испещренная поправками Толстого, наглядно свидетельствует о том, как проходила работа.

Прежде всего, Толстой исправил заглавие, написанное в копии: «Хлыстомер» на «Холстомер». Сделано это было в соответствии с указанием М. А. Стаховича (племянника писателя, сына А. А. Стаховича), сообщившего Толстому в 1885 г., что кличка Холстомер была дана лошади за размашистый бег — будто «холсты меряет». В дальнейшем тексте всюду Хлыстомер был исправлен на Холстомер. Зачеркнув в копии написанный Софьей Андреевной подзаголовок «Опыт фантастического рода 1861 года», Толстой заменил его посвящением М. А. Стаховичу и прибавил сноску: «Сюжет этот был задуман М. А. Стаховичем, автором „Ночного“, и передан автору его братом А. А. Стаховичем» (позднее С. А. Толстая вставила слово: «Наездники») ⁸.

Первая половина повести правилась сравнительно немного — соответствующие листы копии с поправками Толстого заново не переписывались и были в таком виде включены в наборную рукопись. Зато вторая половина — рассказ Холстомера, а также эпизод посещения Серпуховским своего приятеля, хозяина конного завода, — была переделана самым решительным образом. Конец повести был написан заново. Эти листы копии, с поправками и большими вставками на полях, были переписаны еще раз (С. А. Толстой и М. А. Стаховичем). Некоторые листы переписывались дважды и после новых исправлений Толстого отданы в печать. Часть первоначальной копии, замененная новым текстом, была заключена С. А. Толстой в обложку с надписью: «История лошади, переписанная отрывками по поправленному».

Таким образом, если учитывать в первоначальной копии С. А. Толстой только первый слой рукописи, без позднейших исправлений Толстого, в нашем распоряжении окажется редакция «Хлостомера» 60-х годов. Однако, как было сказано выше, сохранились все авторские рукописи, с которых в 1885 г. С. А. Толстая делала копию. Поэтому ранняя редакция «Хлостомера» печатается нами не по копии, а по рукописям (автографам и частично копии) 60-х годов. Копия 1885 г. служит лишь ориентиром для установления последовательности ранних рукописей. В подстрочных примечаниях к тексту приведены варианты, имеющиеся в рукописях ранней редакции.

Из поправок, сделанных Толстым позднее, в 1885 г., в тексте учтены (с оговоркой в подстрочных примечаниях) лишь те, которые устраняют очевидные описки или ошибки раннего текста⁹.

Начало работы над «историей лошади» относится к 1861 г. Эта дата указана в подзаголовке, написанном С. А. Толстой в копии: «Опыт фантастического рода 1861 года». Интересно отметить, что первоначально С. А. Толстая написала: «18...» и лишь потом (вероятно, справившись у Толстого) приписала: «61 года». Именно 1861 годом следует датировать первый известный нам текст (рукопись 2), содержащий начало повести (до рассказа Хлыстомера) — на основании бумаги, на которой он написан. По правому краю небольшие листы этой бумаги пробиты двумя круглыми отверстиями (для шнура). На такой же бумаге в 50—60-е годы Толстым написаны еще только два рассказа: «Идиллия» и «Тихон и Маланья», датируемые маем — октябрём 1861 г. Стало быть, и начало работы над «Хлыстомером» относится к этому же времени.

Таким образом, ни в 1856 г., когда Толстой импровизировал при встрече с Тургеневым рассказ о «переживаниях» лошади и записал в дневнике, что «хочется писать историю лошади», ни в 1859 или 1860 г., когда А. А. Стахович рассказал заинтересовавший Толстого сюжет повести «Похождения пегого мерина», которую не успел дописать его брат М. А. Стахович, работа не была начата. Есть еще одно обстоятельство, позволяющее отнести работу над «Хлыстомером» ко времени не ранее 1861 г. Строки в одном из черновиков — о сапогах Серпуховского («на каких-то чудных, в палец толщины подошвах, очень, может, удобных для ходьбы по лондонской мостовой, но не для устеленных листьями дорог русской деревни») могли быть написаны, очевидно, лишь после недавнего (и единственного) посещения Толстым Лондона в феврале — марте 1861 г.

Писание «истории лошади» продолжалось до 1863 г. В этом году работа над повестью отмечена в известных дневниковых записях Толстого от 23 февраля и 3 марта, а также в его письмах к М. Н. Толстой и Фету. На основании письма к М. Н. Толстой от 8 марта 1863 г. удается датировать конспект повести¹⁰, который, как выяснилось, был написан не в начале работы (1861 г.), а в 1863 г., т. е. по существу в конце работы, когда Толстой, задумывая печатать повесть, намерен был продолжить ее и объединить в одно художественное целое написанные в течение 1861—1863 гг. отрывки¹¹. В начале мая 1863 г. Толстой сообщил Фету: «Теперь я пишу историю пегого мерина, к осени, я думаю, напечатая» (т. 61, с. 17).

На этом сообщении обрываются вплоть до 1885 г. свидетельства, идущие от самого Толстого или от его близких о повести. Сохранилось лишь письмо В. А. Соллогуба к Толстому от 20 марта неизвестного года, из которого видно, что Толстой вел переговоры о печатании своей «истории лошади».

Б. М. Эйхенбаум высказал предположение, что письмо можно датировать 1865 г. и что рукопись «Хлыстомера» была в этом году отправлена Соллогубу для напечатания в задуманном М. П. Погодиным вместе с Соллогубом журнале «Старовер».

Это предположение Б. М. Эйхенбаума не подтверждается прежде всего содержанием письма Соллогуба. В. А. Соллогуб начинает свое письмо следующими словами: «Ваша милая бель-сер, любезный граф, права. Она не высказала того, что сама не понимала, но предугадала по женскому инстинкту, гнушающемуся всего, что оскорбляет стыдливость и нежное эстетическое чувство»¹². Таким образом, в оценке повести Соллогуб соглашается с мнением Т. А. Берс. Трудно предположить, что суждение Т. А. Берс Соллогуб узнал из неизвестного нам письма Толстого. Скорее всего, он слышал

его, находясь вместе с Т. А. Берс в каком-нибудь (разумеется, узком) литературном собрании, где, по всей вероятности, читалась повесть Толстого.

Это могло произойти лишь в начале 1863 г., когда Толстой был длительное время в Москве, приехав туда с женой 23 декабря 1862 г. В Ясную Поляну он возвратился около 8 февраля 1863 г. В это свое пребывание в Москве Толстой был усиленно занят литературными делами: печатал повесть «Казак», готовил к печати «Поликушку» (привезя с собой в Москву рукопись), часто встречался с литераторами, устраивал литературные обеды и вечера.

Т. А. Берс вспоминает об одном таком литературном обеде, на котором присутствовали Фет, Григорович, Островский и на который была приглашена она с А. М. Кузминским¹³. Из дневника самого Толстого известно, что 4 января 1863 г. у Берсов было устроено чтение «Поликушки». Скорее всего, именно в этот период состоялось и чтение «Хлыстомера».

Никаких свидетельств о встречах Толстого в 1863 г. с Соллогубом не найдено. Но такие встречи, конечно, могли быть. Соллогуб стал близким знакомым Толстого с 1850 г. Именно Соллогубу передал Толстой рукопись «Зараженного семейства», приехав в 1864 г. в Москву, и тот взялся хлопотать в цензурном комитете о разрешении пьесы и в театральной дирекции о ее постановке. В 1866 г. Соллогуб приезжал в Ясную Поляну запросто, без предупреждения, решив неожиданно в дороге, что «для друга семь верст — не околица» (по воспоминаниям гувернера детей Соллогуба — Н. Добровольского-Михайлова)¹⁴.

Предположение о том, что письмо Соллогуба относится к 20 марта 1863 г., подтверждается еще следующим фактом.

Соллогуб отзывался в своем письме о повести Толстого резко отрицательно, изложив одновременно свои соображения насчет того, как, по его мнению, следует переделывать ее. Со многими советами Соллогуба Толстой, конечно, не мог согласиться — они были несправедливы (в особенности упрек в цинизме) и не соответствовали замыслу Толстого. Но один совет Соллогуба — о заглавии — был Толстым выполнен.

Первый известный нам автограф 60-х годов, начинающийся зачеркнутым текстом (зачеркнутый отрывок опубликован — т. 26, с. 477, вар. 1), свидетельствует о том, что повесть открывалась первоначально не описанием природы («Все выше и выше поднималось небо...»), а рассказом о конюхе Нестере. Интересно, что, зачеркнув это начало, Толстой между строк текста вписал заглавие: Хлыстомер. Глава I (см. воспроизведение на стр. 269 настоящего тома). Это решение в точности соответствует совету Соллогуба «Назовите статью *именем* мерина <...> Эта кличка в прозе будет нова».

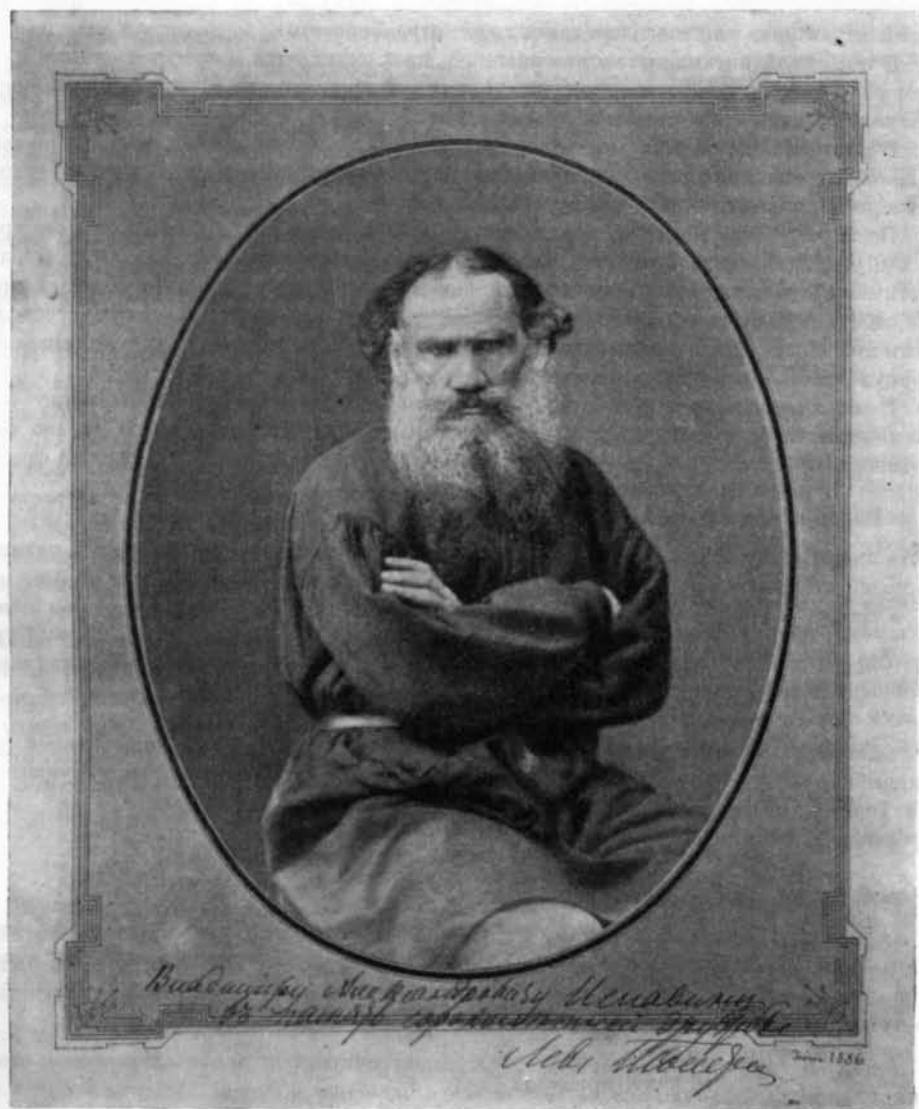
Если датировать письмо Соллогуба 20 марта 1863 г., как это делал Л. Э. Бухгейм, публикуя в 1928 г. письмо Соллогуба, а не 1865 г., как предложил Б. М. Эйхенбаум, становится вполне объяснимым это совпадение. Именно в марте — мае 1863 г. Толстой много работал над повестью, собиравшись осенью напечатать ее.

Представить, что переделку повести Толстой затеял весной 1865 г., совершенно невозможно — это был период напряженнейшей, исключительной работы над «Войной и миром» (у Толстого был тогда на счету каждый день — см. записи в дневнике от марта и апреля 1865 г. — т. 48, с. 59—62).

Работа над «Войной и миром», начатая осенью 1863 г. и поглотившая все силы Толстого, явилась причиной того, что повесть о Хлыстомере осталась тогда незаконченной и ненапечатанной. Случилось то, что одновременно произошло со второй частью повести «Казак». Но вторая часть «Казак» так и осталась достоянием черновиков Толстого; к рассказу же о Хлыстомере он вернулся спустя 22 года — в 1885 г.

Нет никакого сомнения в том, что рукопись «Хлыстомера» в 1863 г. никуда не была отправлена, но оставалась в Ясной Поляне, и до мая 1863 г. Толстой работал над ней. Затем наступил летний перерыв в писательском труде, а с осени 1863 г. началась работа над «Войной и миром».

Рукописи «Хлыстомера» — почти законченного произведения — пролежали в Ясной Поляне до 1885 г., когда повесть была переделана и опубликована.



ТОЛСТОЙ

Фотография 1884 г. с дарственной надписью: «Владимиру Александровичу Иславину в память сорокалетней дружбы. Лев Толстой»

Внизу (справа) помета неуставленной рукой: «Июнь 1886»

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

* * *

Первоначальная редакция «Холстомера» (озаглавленная «Хлыстомер») очень существенно отличается от окончательного текста повести. Главное, в ней нет того обличительного пафоса, который отличает опубликованное в 1885 г. произведение и который характерен для всего позднего творчества Толстого.

С особенной наглядностью это различие прослеживается в «рассуждениях» Холстомера о собственности, в характеристике его хозяев, прежде всего — князя Серпуховского и молодого владельца конного завода.

В первоначальной редакции говорится, главным образом, о *странности и неестественности* поведения людей, любящих называть вещи и даже живые существа «своими» и распоряжаться ими по своему произволу.

По мере работы Толстого над повестью в 1885 г. все больше и больше расширялись и углублялись рассуждения Холстомера о собственности, усиливался их публицистический тон, подчеркивалась обусловленность всех человеческих отношений правом собственности, *преступность и жестокость* этого права, раскрывалась губительность права собственности как для жертв (Холстомер), так и для самих собственников (Серпуховской, молодой хозяйки конного завода и его любовница).

В первоначальной редакции критикуется противоестественное «чувство собственности»; в окончательной, помимо этого, разоблачается преступное «право собственности». Характерно, в этом смысле, например, исправление следующей фразы:

Ред. 60-х годов

Ред. 1885 г.

Есть люди, которые называют других людей своими, а *эти люди сильнее, здоровее и досужнее хозяев.*

Есть люди, которые других людей называют своими, а *никогда не видели этих людей; и все отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло* (т. 26, с. 20. — Курсивом здесь и далее выделяются разночтения между двумя редакциями. — Л. О.).

Одновременно в рассуждениях о собственности появилась в окончательной редакции морализующая обличительная тенденция, столь характерная для произведений Толстого позднего периода.

Сравним, например:

Ред. 60-х годов

Ред. 1885 г.

И люди счастливы, *главное, тем, когда получают исключительное право только называть какую-либо вещь своею.*

И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей с е о и м и (т. 26, с. 20).

Я ездил в простых разъездных дрожжах конюха, но старался.

Я ездил в простых дрожжах конюшего по его делам в Чесменку и другие хутора. Все это происходило оттого, что я был пегий, а главное потому, что я был, по их мнению, не графский, собственность конюшего (т. 26, с. 21).

В редакции 60-х годов развивается прежде всего мысль об условности самого названия «мое», о том, что преимущественное положение одного существа перед другим достигается не богатством, а прирожденными свойствами и здоровыми условиями естественной жизни. В редакции 1885 г. появилась характерная для позднего Толстого социально-нравственная оценка взаимоотношений собственника и его собственности. По первоначальному замыслу, в числе злоключений Холстомера самым печальным оказывалось его безумное увлечение Вязоцурихой, случившееся уже после того, как Холстомер узнал причину странности своего положения на заводе. В окончательной редакции подчеркивается решающее значение в судьбе Холстомера этого права собственности, которое «воображал» себе конюший. Эпизод наказания конюха и свя-

занные с ним рассуждения переносятся в другую главу, становясь последним и самым тяжелым злостью Холстомера во время его пребывания на заводе.

При переработке повести в 1885 г. Толстой последовательно развивал и подчеркивал эпизоды, рассказывающие о том, как все хозяева мучили и калечили Холстомера. Особенно это относится к одному из центральных моментов повести — рассказу о пребывании Холстомера у гусарского офицера Серпуховского. При этом первоначально писатель явно любовался бесшабашной жизнью красавца-гусара (напоминающего Турбина-старшего в «Двух гусарах»). «Кто счастлив, тот и прав» — эта, столь далекая от мироощущения позднего Толстого, мысль записана им в дневнике 3 марта 1863 г., во время обдумывания рассказа о мерине (т. 48, с. 53). В позднейшей редакции соответствующие описания резко изменяются и в значительной мере выбрасываются. Внимание сосредоточено на том, чтоб показать, как именно здесь погубили Холстомера, ибо в безразличных условиях жизни нельзя не погибнуть.

Восторженный рассказ Серпуховского о пари и беге, колоритно характеризующий счастливую жизнь гусара и Холстомера, передаваемый в первой редакции «тоном уверенности, силы и чистоты, которым он <Серпуховской>, верно, говаривал в старину», заключается в 80-е годы характерным для реалистически-обличительной манеры позднего Толстого описанием скучного и непрерывного «вранья» Серпуховского.

С особенной же резкостью мотивы обличения Серпуховского были развиты Толстым в заключительных главах окончательной редакции, где изображена «грязная старость» этого человека, контрастирующая со старостью Холстомера.

Чрезвычайно ярко это снижение образа Серпуховского сказалось в работе над эпизодом встречи Холстомера со своим некогда молодым и блестящим красавцем-хозяином.

В первоначальной редакции Серпуховской смотрит на старого мерина с «изменившимся лицом», тотчас узнает в нем своего Холстомера, взволнованно, «переменившимся голосом» расспрашивает о нем хозяина конного завода. О Холстомере говорится, что он, «вероятно, узнал старого хозяина». В окончательном тексте Серпуховской не узнает Холстомера и не обращает внимания на смешное старческое ржание узнавшей его лошади. Здесь в характеристику Серпуховского вносится постоянный эпитет «обрюзгший», наряду с другими деталями сатирически рисующий этот образ.

Вот, например, характерные замены:

Р е д. 60-х г о д о в

Р е д. 1885 г.

Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две белые пестрые мужские фигуры в соломенных ярких шляпах.

Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две мужские фигуры: один был молодой хозяин в соломенной шляпе, другой высокий, толстый, обрюзгший военный (т. 26, с. 27).

... у этого толстого старого человека, которого вы сейчас видели.

... князя Серпуховского, гусарского офицера, того самого гадкого, старого, которого вы сейчас видели (промежуточная ред.).

... на добром лице его вдруг выразилось отчаяние

... и на обрюзгшем лице его вдруг выразилось отчаяние (т. 26, с. 32).

Хлыстомер, вероятно, узнал старого хозяина...

Холстомер узнал в обрюзгшем старике своего любимого хозяина... (т. 26, с. 28).

По замыслу 60-х годов, Серпуховской — опустившийся, но жалкий, трогательный и вызывающий к себе сочувствие бывший повеса. Он обеспокоен, как бы молодой хозяин, бестактно предлагающий ему кучу сигар, не подумал, что у него нет таких хороших сигар, с горечью вспоминает о былой роскошной, привольной жизни, хвалится Холстомером, вспоминает, что «разбил» его, оказавшись в неудобном положении, краснеет. «„Славный малый!“ — подумал хозяин и подлил ему вина. У Серпуховского были слезы как будто. Он, видимо, рассердился на себя, выпил». Серпуховской стыдится своего положения. Оставшись один, он ходит по спальне взад и вперед и думает застрелиться.

Зачеркнув в 1885 г. написанное ранее, Толстой в ином свете представляет Серпуховского и его взаимоотношения с молодым хозяином: «Хозяину было скучно слушать Серпуховского. Ему хотелось говорить про себя — хвастаться. А Серпуховскому хотелось говорить про себя — про свое блестящее прошедшее» (т. 26, с. 33). И о Холстомере Серпуховской вспоминает теперь только затем, чтобы не уступить в хвастовстве молодому хозяину конного завода.

При переделке в 1885 г. эпизода посещения Серпуховским своего приятеля Толстой в обличительном свете представил не только Серпуховского, но и молодую чету. Совершенно вычеркнут абзац, где говорилось, как хозяева были «добры от счастья» и «сердце радовалось, глядя на них».

«Нельзя быть добрым человеку, неправильно живущему», — записал Толстой в одном из поздних своих дневников (т. 51, с. 57). Соответственно с этим, он лишил доброты, доброго выражения не только Серпуховского и его молодого приятеля, но и беременную хозяйку. Сравним два следующие описания:

Р е д. 60-х годов

Р е д. 1885 г.

Жена или любовница, беременная, что очень заметно было по ее поднявшемуся животу, прямой выгнутой позе, по полноте и в особенности по глазам — этим добрым, внутрь кротко и важно смотревшим добрым большим глазам, сидела за самоваром.

Хозяйка беременная, что очень заметно было по ее поднявшемуся животу, прямой выгнутой позе, по полноте и в особенности по глазам, внутрь кротко и важно смотревшим большим глазам, сидела за самоваром (т. 26, с. 29).

Изменяя отдельные художественные детали, Толстой настойчиво усиливал общую обличительную тенденцию.

Вот некоторые параллели:

Р е д. 60-х годов

Р е д. 1885 г.

...сбирался угостить гостя сигарами

...сбирался похвастать ими перед гостем (т. 26, с. 29).

— Слышал про твоего пегого, мы как-то с Воейковым добрались, кто он был.

— Да, я слышал, — неохотно сказал хозяин, — но я хотел тебе сказать про своих... (т. 26, с. 33).

...добрые от счастья, особенно ухаживали за бедным Никитой.

...переносили бедного Никиту и даже ухаживали за ним (т. 26, с. 30).

Вид счастья его друга и молодых еще более заставлял его, обратившись к своему прошедшему, пасть духом.

Вид счастья молодого хозяина унижал Никиту и заставлял его, вспоминая свое безвозвратное прошедшее, болезненно завидовать (т. 26, с. 30).

В окончательном тексте «Холстомера» в изображении одежды и домашней обстановки хозяина конного завода и его любовницы эпитет «дорогой» обычно заменяет все бывшие ранее эпитеты. Вместо «чудные брелоки» становится: «крупные дорогие брелоки»; вместо «запонки рубашки были тоже редкости bijouterie» — «запонки рубашки были большие, тоже массивные, золотые, с бирюзой». Браслеты и кольца на руках у хозяйки, которые, по первоначальному описанию, «все <...> были прекрасны», — также сменяются на: «все дорогие». Сам хозяин был обрисован в 60-е годы как «русский рысистый охотник, тот, который избирается судьей, который ездит в соболях, который бросает букеты, берет на содержание самую дорогую и т. д.» Дополнив в 80-е годы эту характеристику трижды повторенным эпитетом «дорогой» (которые «бросают дорогие букеты актрисам, пьют вино самое дорогое с самой новой маркой, в самой дорогой гостинице» — т. 26, с. 29), Толстой придал этой характеристике ярко выраженный социально обличительный смысл.

Характерна в этом отношении и следующая замена:

Ред. 60-х годов

К хозяину приехал гость, проматывавшийся родственник, дальний дядя и приятель. Теперь они все сидели за вечерним чаем.

Ред. 1885 г.

У хозяина был накрыт роскошный вечерний чай в роскошной гостиной. За чаем сидели хозяин, хозяйка и приезжий гость (т. 26, с. 28).

«Дорогой», «роскошный» — синоним внешнего блеска и внутренней пустоты и бессмыслицы барской жизни.

В 1885 г. был заново написан резко обличительный отрывок, рисующий Серпуховского после ужина, отрывок, в котором уже явно виден автор «Воскресения».

Ред. 60-х годов

Ушел спать один и долго вспоминал ночь проигрыша и молодость и любовь. «Теперь умирать, хоть бы пришел кто-нибудь. Надо занять или поиграть, или соблазнить ее. Ах я подлец! Подлец!» Он вспомнил Шее., треплящего по плечу, зашел к нему у него просить денег. И говорит: «Я подлец».

На другой день он уехал денег было мало в кошельке на столе.

Ред. 1885 г.

Серпуховской лежал нераздетый на постели и отдувался.

«Кажется, я много врал, — подумал он. — Ну все равно. Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое что-то. И я свинья большая, — сказал он сам себе и захохотал. — То я содержал, то меня содержат. Да, Винклера содержит — я у ней деньги беру. Так ему и надо, так ему и надо! — Однако раздеться, сапоги не снимешь».

— Эй! Эй! — крикнул он, но человек, приставленный к нему, ушел давно спать.

Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как, но сапог долго не мог стащить, брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой бился, бился, запыхался и устал. И так с ногой в голенище повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости (т. 26, с. 34—35).

Холстомеру и всему лошадиному «обществу» в редакции 1885 г. были приданы, наоборот, более привлекательные, чем ранее, черты. Вот некоторые сопоставления:

Ред. 60-х годов

Когда он был оседлан, он отставил оплывшую ногу и стал жевать удила, должно быть тоже по привычке...

Лошади теснились вокруг него, фыркая и вздыхая...

Пестрота моя чрезвычайно понравилась всем...

Ред. 1885 г.

Когда он был оседлан, он отставил оплывшую правую ногу и стал жевать удила, тоже по каким-то особым соображениям... (т. 26, с. 4).

Лошади неподвижно и в глубоком молчании стояли вокруг него... (т. 26, с. 13).

Пестрота моя, так не нравившаяся людям, чрезвычайно понравилась всем лошадям... (т. 26, с. 15).

Острее, чем в первоначальной редакции, был развернут в 1885 г. контраст старости Холстомера и отвратительной старости Серпуховского, резко подчеркнуто противопоставление всей жизни и труда лошади — бесполезному, приносящему одно зло существованию Серпуховского. Наконец, только в окончательной редакции был нарисован потрясающий по обличительной силе контраст смерти Холстомера, с поэтическим изображением волчицы, кормящей мясом зарезанной лошади своих волчат, и смерти Серпуховского, отвратительность которой не уменьшается, а увеличивается пышной обстановкой похорон.

Прием художественного контраста — излюбленный в творчестве Толстого. Он щедро используется и в первоначальной редакции повести, в обрисовке Холстомера в молодости и в старости, противопоставлении старого Холстомера и оживленного табуна красивых, здоровых, сильных лошадей и т. п. В окончательном тексте эти контрасты сохранены, даже усилены множеством новых (порою «натуралистических»)

ХЛЫСТОМЕР

ГЛАВА I

Все выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, безжизненнее становился серп месяца, звучнее лес; люди начинали подниматься и на ^{1*} барском конном дворе чаще и чаще слышалось фыркание, возня по соломе и даже сердитое, визгливое ржание столпившихся и повздоривших за что-то лошадей.

— Но! успеешь! проголодались! — сказал старый табунщик Нестер, отворяя скрипящие ворота. — Куда? — замахнулся он на кобылку, которая сунулась было в ворота.

Но лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика, они сделали вид, что им все равно, и неторопливо отошли от ворот; только одна старая караковая гривастая кобыла приложила ухо и быстро повернулась задом. При этом случае молодая кобылка, стоявшая сзади и до которой это вовсе не касалось, взвизгнула и поддала задом первой попавшейся лошади.

— Но-о! — еще громче и грознее закричал табунщик Нестер, <который> был уже одет в казакин, подпоясан. Кнут у него был через плечо и хлеб в полотенце. В руках он нес седло ^{2*} и уздечку.

Из ^{3*} всех лошадей, находившихся на варке (их было около сотни), меньше всех нетерпения показывал пегий мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и ^{4*}, прищурив глаза, лизавший столб сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом пегий мерин, но ^{5*} выражение его ^{6*} было серьезно и задумчиво, когда он это делал.

— Балуй! — опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя и кладя на постилку седло.

Пегий мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестера ^{7*}. Он не засмеялся ^{8*}, не рассердился, не нахмурился, а понес всем животом и тяжело-тяжело вздохнул и отвернулся. Но табунщик обнял его шею и надел уздечку.

— Что вздыхаешь? — сказал Нестер.

Мерин просто взмахнул хвостом, как будто говоря: «Так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, при чем мерин приложил уши, выражая должно быть свое неудовольствие, но его ^{9*} только выбрали за это дрянью и стали стягивать подпруги. При этом мерин надулся, но ему всунули палец в рот и ударили коленом в живот, так что он должен был выпустить дух. Несмотря на то, когда зубом подтягивали трок, он еще раз приложил уши и даже оглянулся. Верно, он знал уже, что это не поможет; но, несмотря на то, считал нужным выразить, что ему это неприятно, или просто по привычке делал это. Когда он был оседлан, он отставил оплывшую ногу и стал жевать удила, должно быть тоже по привычке, потому что пора ему было знать, что в удилах не может быть никакого вкуса.

Нестер по короткому стремени влез на мерина, распростал кнут и казакин, уселся на седле особенной, кучерской, охотничьей, табунничьей

^{1*} Далее было: а. варке; б. дворах

^{2*} Первоначально: постилку

^{3*} Зачеркнуто: всей полсотни

^{4*} Далее было: задумчиво

^{5*} Далее было: лицо

^{6*} Далее было: лица

^{7*} Далее было: так же как караульщик долго смотрел на манеж. Но

^{8*} Далее было: как караульщик

^{9*} Далее было: ударили за это носком толстого сапога. Потом

посадкой и дернул за поводья. Мерин встряхнул головой и поднял ее, изъясняя готовность идти, куда прикажут, но не тронулся с места. Он знал, что, прежде чем ехать, многое еще будут кричать, сидя на нем, поправлять и приказывать Ваське, другому табунщику, и лошадям.

Действительно Нестер стал кричать:

— Васька! а Васька! Маток выпустил что ль? Куда ты, леший! Но! Аль спишь! Отворяй.^{10*} Пущай наперед матки пройдут, и т. д.

Ворота заскрипели. Васька, сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял подле них, и одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая, стали проходить^{11*} жеребята, стригуны и сосунчики, и тяжелые утробистые матки, осторожно, по одной в воротах, пронося свое брюхо. Молодые кобылки теснились иногда по двое, по трое, кладя друг другу головы через спины и торопились ногами в воротах, за что всякий раз получали бранные слова от табунщиков. Сосунчики бросались к ногам иногда чужих маток и звонко ржали, отзываясь на короткое гоготанье маток.

Молодая кобылка шалунья, как только выбралась за ворота, загнула вниз и на бок голову, взнесла задом и взвизгнула; но все-таки не посмела забежать вперед вороной — старой Жулдыбы, которая тихим, тяжелым шагом, с боку на бок переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, впереди всех лошадей.

За несколько минут столь оживленный варок печально опустел, грустно торчали^{12*} столбы под пустыми навесами и виднелась одна измятая унавоженная солома. Как ни привычна была эта картина опустения для пегого мерина, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно покачал головой, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трок, и, ковыляя своими погнутыми нерасходившимися ногами, побрел за табунном, унося на своей спине старого Нестера.

«Знаю теперь, как выедем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой, — думал мерин. — Я рад этому, потому что рано поутру с росой мне приятен этот запах и напоминает много приятного; досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком; а мне больно с этой стороны. Впрочем, бог с ним, мне не в новости страдать для удовольствия других; я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбриться ему одному, пока его никто не видит, пускай сидит боком», — рассуждал мерин и, осторожно ступая покоробленными ногами, шел по середине дороги.

ГЛАВА 13* II

Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, табунщики слезли, расседлали, и табун медленно стал разбираться по не сбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от реки, огибавшей его.

Сняв уздечку с пегого мерина, Нестер почесал его под шеей, в ответ на что мерин, в знак благодарности и удовольствия, закрыл глаза.

— Любит, старый пес! — проговорил Нестер.

Мерин же насколько не любил этого чесанья и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно. Он помотал головой в знак

^{10*} Далее было: Пропasti на тебя нет

^{11*} Далее было: кобылы

^{12*} Далее было: пустые

^{13*} Первоначально: Песнь

в его лета, прежде напиться хорошенько натошак, а потом уже есть, он выбрал где поотложнее и просторнее берег, и моча копыты и щетку ног, опустил губы и стал сосать сквозь свои прорванные губы и поводить на-полнявшимися боками и от удовольствия помахивать облезшим пегим хвостом ^{15*}.

Бурая кобылка забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намотить ему воду перед носом, но пегий уж напился и, как будто не замечая ее умысла, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, отряхнул ^{16*} голову, пошел в сторонку от молодежи и принялся есть. На различные манеры отставляя ноги и не топчя лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно три часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок, на худых ребрах, он установился ровно на всех четырех ногах, опустил уши и заснул.

Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода.

Мерин был когда-то гнедо-пегий; теперь гнедые пятна стали грязно-чалого цвета, особенно около головы ^{17*}. Пежина его составлялась из трех пятен; одно на голове, с кривой с боку носа лысиной, и до половины шеи ^{18*}. Длинная ^{19*} и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота; третье пятно на крупе и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с ввалившимися глазами и отвисшей разорванной, когда-то черной губой тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной шее. Из-за отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, висели низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать лишних мух. Один клоч, еще длинный от холки, висел сзади за ухом; открытый лоб был ввален и изрыт впадинами, просторные салазки (скулы) были только обтянуты кожей ^{20*}. На шее и голове жилы связались узлами, вздрагивавшими и дрожавшими при каждом прикосновении мухи. Выражение лица было строго-терпеливое, глубокомысленное и ^{21*} страдальческое.

Росту он был около двух вершков с половиной.

Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пегина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее; но стертые на ляжках видимо давно, но шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребра были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями, и репица хвоста с обозначавшимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе около хвоста была заросшая белыми волосами в ладонь рана, вроде укуса, другая рана — рубец видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты. Шерсть по всему

15* Первоначально: хвостиком

16* Первоначально: встряхнул; далее было: замочившейся гривой

17* Далее было: обсыпанной мелкими пятнышками, называемыми гречкой.

18* Далее зачеркнуто: То, что оставалось от гривы, теперь было белое с буроватой холкой и вписано: Длинная ~ буроватая.

19* Первоначально: Густая

20* Далее зачеркнуто: Но выражение этого и вписано: На шее ~ Выражение

21* Далее было: глубоко

телу ^{22*} торчала дыбом грязно и редко. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее, а знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь.

Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные маслаки, копыты, такую тонкость кости ноги, такой постанов шеи, главное, такую кость головы, глаз — большой, черный и светлый, эти породистые комки жил около головы и шеи, тонкую шкуру и волос.

Действительно, было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней ^{23*} отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия сознательной красоты и силы.

Как живая развалина, он стоял одиноко посередине росистого ^{24*} луга, а недалеко от него слышались топот, фыркание, молодое ржание, взвизгивание рассыпавшегося табуна.

ГЛАВА III

Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве и извивах реки. Река обсыхала ^{25*} и собиралась каплями, кое-где, около болотца и над лесом, как дымок, расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой ^{26*} стояла зеленая ^{27*}, свертывавшаяся в трубку рожь и пахло свежим цветом. Кукушка куковала с прихрипываньем из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуном и, выскочив на бугор, сел и прислушивался. Васька опять задремал, уткнув голову в траву; кобылки еще просторнее, обойдя его, рассыпались по низу. Старые, пофыркивая на росу, прокладывали светлый следок и все выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уж не ели, а только закусывали вкусными травками. Воронья Жулдыба опять-таки степенно выступала ^{28*} впереди других, показывая ^{29*} другим возможность идти дальше. Молодая, в первый раз ожеребившаяся серая Мушка ^{30*} беспрестанно гоготала и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосунчика, который, дрожа коленями, ковылял около ней. Караковая холостая Ласточка, как атласная гладкая и блестящая шерстью, опустив голову так, что черная шелковистая холка закрывала ей лоб и глаза, играла с травой — щипнет и бросит, и стукнет мокрой от росы ногой с пушистой челкой ^{31*}. Один из старших сосунчиков, должно быть воображая себе какую-нибудь игру, уже 26 раз, подняв панашом коротенький кудрявый ^{32*} хвостик, обскакал кругом своей матки, которая спокойно щипала траву ^{33*}, успев уже привыкнуть к характеру своего сына, и только изредка косилась на него большим черным глазом.

^{22*} Слово телу взято из поправленной в 1885 г. копии.

^{23*} Далее было: неприятных признаков

^{24*} Далее было: молодого

^{25*} Далее было: пар

^{26*} Первоначально: стеной

^{27*} Далее зачеркнуто: чуть буреющая, выколосившаяся и надписано: свертывавшаяся в трубку

^{28*} В автографе: выступает. Исправлено по аналогии с авторскими исправлениями в предыдущей и последующих фразах — везде настоящее время на прошедшее.

^{29*} Далее было: им

^{30*} Далее было: все

^{31*} Так в автографе. Позднее в копии Толстым исправлено: щеткой.

^{32*} Первоначально: пуши(стый)

^{33*} Далее было: а. зная твер(до); б. уже

Один из самых маленьких сосунов, черный, головастый, с удивленно торчащей между ушами холкой и хвостиком, свернутым на сторону, уставив уши и тупые глаза, не двигаясь с места, пристально смотрел на сосуна, который скакал и пятился, неизвестно, завидуя или осуждая, за чем он это делает.

Которые сосут, подталкивая носом, которые неизвестно ^{34*} почему, несмотря на зовы матерей, бегут маленькой неловкой рысцой прямо в противоположную сторону, как будто отыскивая что-то, и потом неизвестно для чего останавливаются и ржат отчаянно-пронзительным голосом; которые лежат боком вповалку, которые учатся есть траву, которые чешутся задней ногой за ухом.

Две еще жеребье кобылы ходят отдельно и, медленно передвигая ноги, все еще едят. Видно, что их положение уважаемо ^{35*} другими, и никто из молодежи не решается подходить и мешать. Ежели и вздумает какая-нибудь шалунья подойти близко к ним, то одного движения уха и хвоста достаточно, чтобы показать им всю неприличность их поведения.

Стригунки, годовалые кобылки притворяются уже большими и степенными и редко подпрыгивают и сходятся с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебединые стриженные шейки, и, как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими веничками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаются или чешут друг друга. Самая веселая компания составляется из двухлеток — трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вместе и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, взвизгиванье, ржанье, брыканье. Они сходятся, вкладывают головы друг другу через плечи, обнюхиваются, прыгают и иногда, всхрапнув ^{36*} и подняв трубой хвост, полу-рысью, полу-тропотой гордо и кокетливо пробегают перед товарками. Первой красавицей и затейницей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие, куда она шла, за ней шла и вся гурьба красавиц.

Шалунья была в особенно игривом расположении в это утро. Веселый стих нашел на нее, так, как он находит и на людей. Еще на водопое подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и что есть духу поскакала ^{37*} в поле, так что Васька должен был скакать за ней и за другими ^{38*}, увязавшимися за ней. Потом, поев немного, она начала валяться, потом дразнить старух тем, что заходила ^{39*} вперед их, потом отбила одного сосунка и начала бегать за ним, как будто желая укусить его. Мать испугалась и бросила есть, сосунчик кричал жалким голосом, но шалунья ничем даже не тронула его, а только попугала его и доставила зрелище товаркам, которые все смотрели на ее проделки. Потом она затеяла вскружить голову чалой лошадке, на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сохой. Она остановилась, гордо, несколько на бок подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражалась в этом ржаньи. В нем было и желание, и обещанье любви, и грусть по ней. «Вон дергач, в густом тростнике, перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу, вон и ^{40*} кукушка и перепел поют любовь, и цветы ^{41*} по ветру пересылают свою душистую пыль друг другу. И я и молода, и хороша, и сильна, —

^{34*} Далее было: зачем

^{35*} В автографе: уважаемое, но в копии Толстым позднее исправлено на: уважаемо.

^{36*} Первоначально: взбрыкнув <?>

^{37*} Первоначально: побежала

^{38*} Далее было: молодками

^{39*} Первоначально: забегала

^{40*} Далее было: соловей

^{41*} Далее было: и рожь

думала, может быть, про себя шалуныя, — а мне не дано было до сей поры испытать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видал меня».

И шаловливое веселое ржанье грустно и молодо отозвалось низом и полем, и издалека донеслось до чалой лошадки. Она подняла уши и оставилась. Мужик ударил ее лаптем, но чалая лошадка была очарована серебряным звуком далекого ржанья, и она заржала тоже. Мужик рассердился, дернул ее возжами и ударил так лаптем по брюху, что она не успела закончить своего ржанья и пошла дальше. Но ^{42*} чалой лошадке стало ^{43*} сладко и грустно, и из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржанья и сердитого голоса мужика ^{44*}.

Ежели от одного звука этого голоса чалая лошадка могла ошалеть так, что забыла свою должность, что бы было с ней, ежели бы она видела всю красавицу шалуныю, как она, насторожив уши, растопырив ноздри, втягивая в себя воздух и куда-то порываясь и дрожа всем своим молодым и красивым телом, звала ее. Но шалуныя долго не задумывалась над своими впечатлениями. Когда голос чалого замолк, она насмешливо поржала еще и, опустив голову, стала копать ^{45*} ногой землю, а потом пошла будить и дразнить пегого мерина. Пегий мерин был всегдашним мучеником и шутком этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен, но за что же мучали его молодые лошади?

ГЛАВА IV ^{46*}

Он был стар, они были молоды, он был худ, они были сыты, он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его.

Лошади жалеют только самих себя, только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но был ли виноват пегий мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив?.. Да. По-лошадиному, он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых было все впереди, те, у которых от ненужного напряжения дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам пегий мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь; но он все-таки был лошадь ^{47*} и не мог удерживаться часто от чувств оскорбления, грусти и негодования, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни.

Причиной безжалостности ^{48*} лошадей было тоже и аристократическое чувство. Каждая из них вела свою родословную по отцу или по матери от знаменитого Сметанки, пегий же, неизвестно какого рода, был пришлец, купленный три года тому назад за 80 рублей ассигнациями на ярманке.

Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу пегого мерина и толкнула его. Он уже знал, что это такое, и, не открывая глаз, приложил уши и оскалился. Кобылка повернулась задом и сделала вид, что хочет ударить его. Он открыл глаза и отошел в другую сторону. Спать ему уже не хотелось, и он начал есть. Снова шалуныя, сопутствуете-

^{42*} Далее зачеркнуто: ей и вписано: чалой лошадке

^{43*} Далее было: ужасно

^{44*} Далее зачеркнуто: Шалуныя долго не задумывалась над своими впечатлениями и вписано: Ежели от одного ~ Но шалуныя долго не задумывалась над своими впечатлениями.

^{45*} Первоначально: щипать

^{46*} В автографе: Песнь 3-я

^{47*} Первоначально: человек

^{48*} Далее было: других

мая своими подругами ^{49*}, подошла к мерину. Двухлетняя лысая кобылка, очень глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа мерина, не глядя на него, так что он решительно не знал, сердиться или нет, и это было действительно смешно ^{50*}. Она сделала это и теперь, но лысая, шедшая за ней и особенно развеселившаяся, уже прямо грудью ударила мерина. Он снова оскалил зубы, взвизгнул, и с прытью, которую нельзя бы было ожидать от него, бросился за ней и укусил в ляжку. Лысенькая ударила всем задом ^{51*} и тяжело ударила старика по худым, голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом раздумал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодежь табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе пегий мерин в отношении лысой кобылки, и весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя ^{52*}, так что табунщик несколько раз унимал их и не мог повясть, что с ними случилось. Мерин так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табун, и почувствовал себя счастливее и покойнее, когда его оседлали и сели на него.

Бог знает о чем думал старик мерин, унося на своей спине старика Нестера. С горечью ли думал он о неотвязчивой и жестокой молодежи или с свойственной старикам презрительной и молчаливой гордостью судил своих обидчиков, только он ничем не проявил своих размышлений до самого дома ^{53*}.

К Нестеру приехали кумовья в этот вечер и, прогоняя табун мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадью, привязанною к его крыльцу. Загнав табун, он так поторопился, что, не сняв седла, пустил на двор мерина и, крикнув Ваське, чтоб он расседлал ^{54*} табунного, запер ворота и пошел к кумовьям.

Вследствие ли оскорбления, нанесенного пегим стариком гневной кобылке, и возмущенного этим поступком аристократического чувства всех заводских лошадей — «коростовая дрянь, купленная на конной и не знающая отца и матери, смела укусить за ляжку Сметанкину правнучку! Положим, она была виновата, и он добрый старик, никого не обижал, но все-таки он должен был помнить, кто она и кто он» — так думали лошади — вследствие ли этого, или вследствие того, что мерин в высоком седле, без седока, представлял странно фантастическое для лошадей зрелище, только на варке произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади, молодые и старые, с оскаленными зубами бегали за меринком, гоняя его по двору, раздавались звуки копыт о его худые бока и тяжелое кряхтение. Мерин не мог более переносить этого, не мог более избегать ударов. Он остановился ^{55*} посередине двора, на лице его выразилось отвратительное, слабое и грозное озлобление бессильной старости, он остановил свои глаза, приложил уши и шевелил губами. Лошади окружили его, но ни

^{49*} Далее зачеркнуто: в числе которых одна и вписано окончание фразы.

^{50*} Далее было: Лысая же

^{51*} Далее было: а. но озлобившийся; б. пегий

^{52*} Далее зачеркнуто: Он сам подошел к Нестеру и вписано: так что табунщик ~ к Нестеру

⁵³ В автографе на полях конспективная запись: Подле дома встретили их два господина. «Это чей пегий?» — спросил один. — «Табунщик купил». — «Постой. Подъезжай сюда. Это Хлыстомер. Не может быть. Он. Эх, бедняга...»

Далее зачеркнутый текст автографа (т. 26, с. 477—479, вар. 2 и 2а).

^{54*} Далее зачеркнуто: мерина, пошел и вписано: табунного

^{55*} Далее было: между двух

одна не посмела подойти ближе, и тут произошло что-то необыкновенное ^{56*}.

Посередине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура мерина с высоким седлом, которое своей лукою угрожало, казалось, лошадям. Мерин глядел задумчиво и страшно, бока его высоко поднимались и опускались, и он медленно шевелил губами ^{57*}. Лошади теснились вокруг него, фыркая и вздыхая, как будто они что-то новое, необыкновенное видели в нем, точно новое, неожиданное они слушали от него ^{58*}

— Да, я Хлыстомер, — говорил пегий мерин, — тот самый Хлыстомер, сын Телки и Доброго 1-го, которому по крови ^{59*} нет равной лошади в России. Я никогда бы не сказал вам этого. К чему? Вы бы никогда не узнали меня, как не узнавала меня Вязопуриха, бывшая со мной вместе в Хреновом и теперь только признавшая меня. Вы бы и теперь не поверили мне, ежели бы не было свидетельства этой Вязопурихи. Я бы никогда не сказал вам этого. Мне не нужно лошадиное сожаление. Но вы хотели этого. Да, я тот Хлыстомер, которого отыскивают и не находят охотники, тот Хлыстомер, которого знал сам граф и сбыл с завода за то, что я обошел его любимца Лебеда.

И Хлыстомер таким образом стал рассказывать историю своей жизни.

Вечер 1

Когда я родился, я не знал, что такое значит «пегий», я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать.

Я родился, должно быть, ночью, к утру я, уже облизанный матерью, стоял на ногах. Помню, что мне все чего-то хотелось, и все мне казалось чрезвычайно удивительно и вместе чрезвычайно просто. Денник у нас был в длинном теплом коридоре, с решетчатыми дверьми, сквозь которые все видно было.

Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом, — то ее под передние ноги, то под косягу. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, обнесши через меня ногу, посторонилась. Дневальный конюх смотрел к нам в денник.

— Ишь ты, Телка-то ожеребилась, — сказал он и стал отворять задвижку. Он взшел по своей постилке и обнял меня руками.

— Глянь-ка, Тарас, — крикнул он, — пегий какой, ровно сорока.

Я рванулся от него и спотыкнулся на колени.

— Вишь, чертенюк, — проговорил он.

Мать обеспокоилась, но не стала защищать меня и, только тяжело-тяжело вздохнув, отошла немного в сторону. Пришли конюха и стали смотреть меня. Один побежал объявить конюшему. Все смеялись, глядя на мои пежины, и давали мне разные странные названия. Не только я, но и мать не понимала значения этих слов. До сих пор между нами и всеми моими родными не было ни одного пегого. Мы не думали, чтоб в этом было что-нибудь дурное. Сложение же и силу мою и тогда все хвалили.

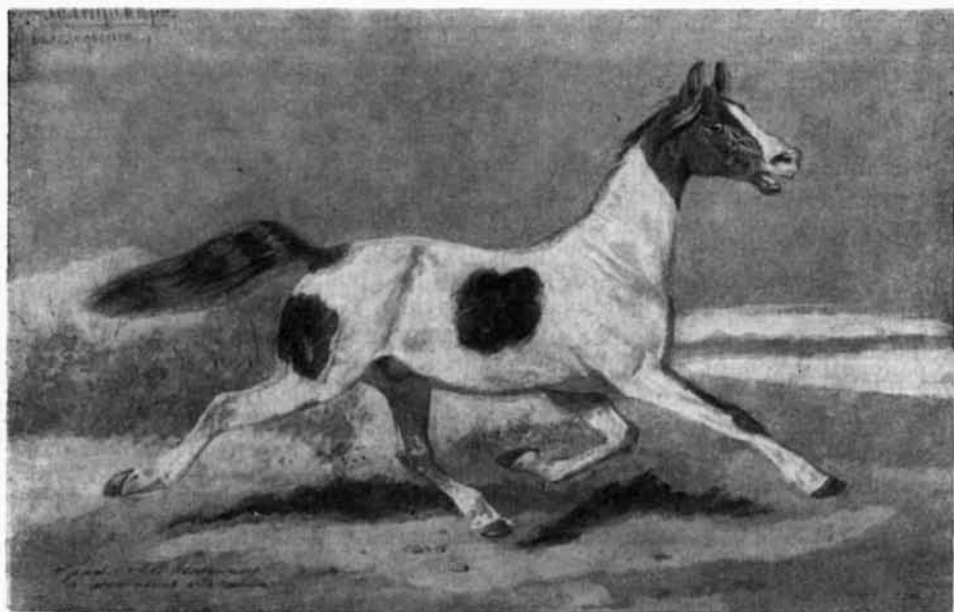
^{56*} Далее было: Месяц уже взшел и, слабо освещая двор, начинал по соломе класть тени столбов и лошадей. Через

^{57*} Далее было: На варке произошло что-то необыкновенное.

^{58*} Далее было: Все затихло, только слышались вздохи и переставление ног по свежей соломе. Мерин молча поводил прорванными черными губами

— Да, я, друзья мои, — говорил пегий мерин, — я, каким вы меня видите, опоенным, [изравенным], кривобоким, без целого места на теле, без хвоста и гривы, под седлом табунщика, водовоз — я не то, что думают обо мне эти люди и что вы думали.

^{59*} Первоначально: породе



«ХОЛСТОМЕР В МОЛОДОСТИ»

Акварель Н. Е. Сверчкова

Внизу дарственная надпись: «Графу Л. Н. Толстому с истинным уважением Сверчков. 1887»

Дом-музей Толстого в Хамовниках, Москва

— Вишь, какой шустрый, — говорил конюх, — не удержишь.

Через несколько времени пришел конюший, и он стал удивляться на мой цвет, он даже казался огорченным.

— И в кого такая уродина уродилась, — сказал он, — генерал его теперь не оставит в заводе. Эх, Телка, посадила ты меня, — обратился он к моей матери. — Хоть бы лысого ожеребила, а то вовсе некого!

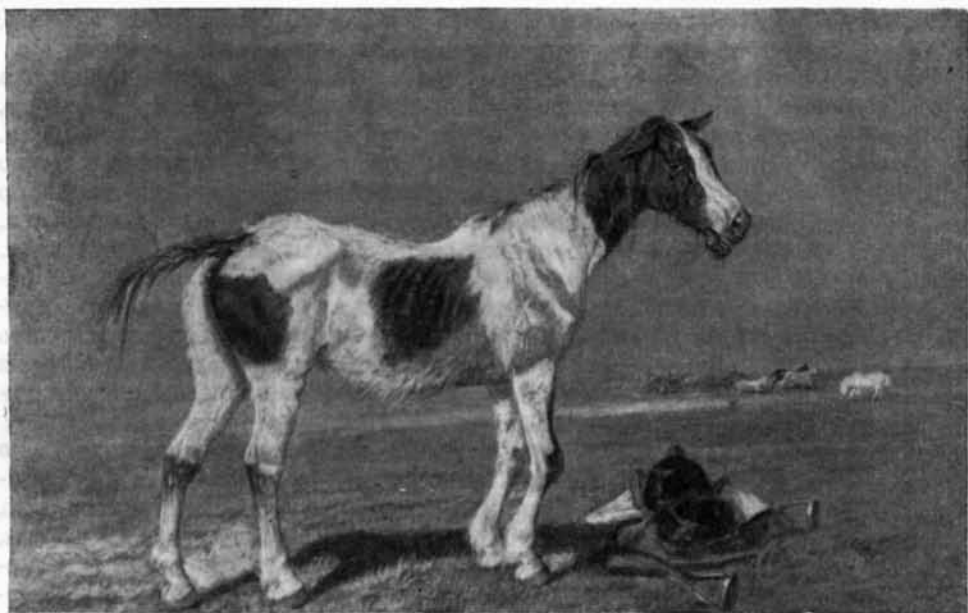
Мать моя ничего не отвечала и, как всегда в подобных случаях, опять вздохнула.

— И в какого черта он уродился, точно мужик, — продолжал он, — в заводе нельзя оставить, срам, а хорош, очень хорош, — говорил и он, и все, глядя на меня.

Через несколько дней пришел и сам генерал посмотреть на меня и опять все чему-то ужасались и бранили меня и мою мать за цвет моей шерсти.

— А хорош, очень хорош, — повторял всякий, кто только меня видел.

До весны мы жили в денниках все порознь, только изредка, когда снег на крышах варков стал уже таять от солнца, нас с матерями стали выпускать на широкий двор, устланный свежей соломой. Тут в первый раз я узнал всех своих родных и соплеменников. Тут из разных дверей я видел, как выходили с своими сосунками все знаменитые кобылы того времени. Тут была старая Голландка, Мушка, сметанкина дочь, Краснуха, верховая Доброхотиха и все знаменитости того времени, все собирались тут с своими сосунками, похаживали по солнышку, катались по свежей соломе и обнюхивали друг друга, как и простые лошади. Вид этого варка, наполненный красавицами того времени, я не могу забыть до сих пор. Вам странно думать и верить, что и я был молод и резв, но это так было. Тут была и Вязопуриха с годовалым стригунчиком — милой, веселой и резвой лошадкой; но, не в обиду будь ей сказано, не-



«ХОЛСТОМЕР В СТАРОСТИ»

Акварель Н. Е. Сверчкова

В 1887 г. была подарена художником Толстому
Дом-музей Толстого в Хамовниках, Москва

смотря на то, что она редкостью по крови теперь считается между вами, тогда она была ^{60*} из худших лошадей того приплода.

Пестрота моя чрезвычайно понравилась всем; все окружили меня, любовались и заигрывали со мною.

Так прошел месяц, я забыл слова людей о моей пестроте и чувствовал себя счастливым. В это время я узнал первое горе в моей жизни, и причиной его была мать. Когда уже начало таять, воробьи чирикали под навесами и в воздухе сильнее начала чувствоваться весна, мать моя стала перемещаться в обращении со мною. Весь нрав ее изменился; то она вдруг без всякой причины начинала играть, бегая по двору; то задумывалась и начинала ржать; то кусала и брыкала подходивших лошадей; то начинала обнюхивать меня и недовольно фыркать; то, выходя на солнце, клала свою голову чрез плечо своей двоюродной сестре Купчихе и долго задумчиво чесала ей спину и отталкивала меня от сосков. Один раз пришел конюший, велел надеть на нее недоуздок — и ее повели из денника. Она заржала, я откликнулся ей и бросился за нею; но конюх Тарас схватил меня в охапку в то время, как затворяли дверь за выведенною матерью. Я рванулся, сбил конюха в солому, но дверь была заперта, и я только слышал все удалявшееся ржанье матери. И в ржании этом я уже не слышал призыва, а слышал другое выражение, которого я еще не замечал в матери. На ее голос далеко отозвался могущественный голос, как я после узнал, это был Добрый Первый, который с двумя конюхами по сторонам шел на свиданье с моею матерью.

Я не помню, как вышел Тарас из моего денника: мне стало так грустно, как бы я навсегда потерял свою мать и любовь ее. Это все оттого, что я пегий, думал я, вспоминая слова людей — и такое зло меня взяло, что

^{60*} Последние два слова взяты из исправленной Толстым копии.

я стал биться об стены денника головой и коленами, и бился до тех пор, пока не вспотел и не остановился в изнеможении.

Через несколько времени мать вернулась ко мне. Я слышал, как она рысцой и непривычным ходом подбежала к нашему деннику по коридору. Ей отворили дверь, я не узнал ее — как она помолодела и похорошела. Она обняла меня, фыркнула и начала гоготать. По всему выражению ее я видел, что она меня не любила в это время. Она рассказывала мне про красоту Доброго и про свою любовь к нему. Свидания эти продолжались, и между мною и матерью отношения становились холоднее и холоднее.

Скоро нас выпустили на траву, и с этой поры я почувствовал себя более самостоятельным. У меня были подруги и товарищи, мы вместе учились есть траву, ржать так же, как и большие, и, подняв хвосты, скакать кругами вокруг своих матерей. Это было самое счастливое время моей жизни. Мне все прощалось, все меня любили, любовались мною и снисходительно смотрели на все, что бы я ни сделал.

В августе месяце нас разлучили с матерью; я не чувствовал особенного горя. Я видел, что мать моя носила уже меньшого моего брата, знаменитого Лебеда, и что в ней уже было меньше любви ко мне. Я не ревновал, но я чувствовал, что становился холодней к ней. Кроме того, я знал, что, оставив мать, я поступлю в общее отделение жеребят, где мы стояли по двое и по-трое, и каждый день всей гурьбой молодежи выходили на воздух.

Я стоял в одном деннике с Милым. Милый был верховой и впоследствии был лошадей императора, тогда он еще был простой сосунчик, с глянцевитой простой шерстью, лебединой шейкой и как струнки ровными и тонкими ногами. Он был всегда весел, добродушен и любезен; всегда готовый играть, лизаться и подшутить над лошадей или человеком. Мы с ним невольно подружились, живя вместе, и дружба эта продолжалась всю нашу жизнь. Он был весел и легкомыслен. Он тогда уже начинал любить и первый объяснил мне значение этой страсти. Я же, напротив, уже тогда показывал склонность к серьезности и глубокомыслию, и всю зиму эту не мог понять, какую прелесть находил Милый в игре с кобылкой. Моя пежина, возбуждавшая такое странное презрение в людях, и так скоро потерянная любовь матери, променявшей меня на Доброго, возбуждали во мне эту серьезность настроения и мысли.

Случилось еще третье обстоятельство, содействовавшее раннему развитию во мне мысли. Зимой, во время праздников, нам целый день не давали корму и не поили нас. Как я после узнал, потому, что наш конюх был пьян.

В этот же день конюший взшел к нам, посмотрел, что нет корму, и начал ругать самыми дурными словами нашего конюха, которого здесь не было, потом ушел.

На другой день наш конюх с другим товарищем взшел в наш денник задавать нам сена; я заметил, что он особенно был бледен и печален; в особенности в выражении длинной дворовской спины его было что-то грустное и наказанное.

Он сердито бросил сено, я сунулся было головой чрез его плечо; но он кулаком так больно ударил меня по морде, что я отскочил. Он еще ударил меня каблуком по животу.

— Кабы не этот коростовый, — сказал он, — ничего бы не было.

— А что? — спросил другой конюх.

— Пегий-то ведь его теперь.

— Чей? — спросил другой.

— Конюшего, черта-то, — отвечал наш конюх. — Генерал пегого жеребенка продал, подарил что ли. То-то вчера зашел сюда, да и говорит: «Корму нет», и ну бузовать. Христианства нет. Скотину жалчей человека!

Кабы не свой жеребенок, ничего бы; креста, видно, на нем нет, сам считал, варвар, и сам генерал так не парывал, видно, христианской души нет.

То, что они говорили о христианстве и о том, что высекли нашего конюха, я хорошо понял; но для меня совершенно было темно тогда, что такое значило, что я был продан или подарен конюшему. Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же мне казалось так непонятно, чтобы я мог принадлежать кому-нибудь. Что такое значило, когда говорили про меня: «мой жеребенок» или «моя лошадь». Я понимал, что значит: моя нога, моя голова, мой хвост; но почему же моя лошадь? Ежели бы это значило, что он кормит меня, я бы понял, — но кормили меня различные люди. Ежели бы это значило, что он бьет меня, — но и били меня различные люди. Сказать: моя лошадь — мне казалось так же невозможно, как сказать: моя земля, мой воздух, моя вода. Теперь только, побывав у многих хозяев, я понял, что значит — моя лошадь.

— Что же это такое значит? — спросили другие лошади с любопытством, настораживая себе уши, — мы часто слыхали это и не могли дать себе отчета.

Хлыстомер продолжал:

— Вот что значит «моя лошадь». Люди любят говорить: моя, мой, мое про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. В этом заключается главная страсть людей, и для того, чтобы говорить про какую-либо вещь — мое, они готовы всем пожертвовать; но так как про одну и ту же вещь многие желают говорить — мое, и им неприятно, когда кто-нибудь другой говорит «мое» про одну и ту же вещь, то они условливаются, чтобы только один говорил про одну вещь — мое. И тот, кто про наибольшее число вещей говорит — мое, тот считается у них счастливейшим.

Для чего это так, я не знаю, но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это понятие «мое», за которое столь многим жертвуют люди, какую-нибудь прямою выгодою, но не мог; и убежден теперь, что в этом состоит существенное различие людей от нас. И потому только мы смело можем сказать, что стоим выше, чем люди: люди подлежат желанию называть вещи «мое», а мы свободны от этой животной слабости.

Прежде, отыскивая эту истину, я спрашивал себя: не означает ли «мое» какой-нибудь прямой и существенной выгоды права или силы или обязанности для человека? Многие из моих хозяев называли меня своей лошадью; но ездили на мне не они, а совершенно другие. Кормили меня не они, а другие. Делали мне добро опять-таки не они — хозяева, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие «мое» не имеет никакого другого основания, как бессмысленно составленное условие или животный людской инстинкт, называемый чувством собственности. Государь говорит: «Государство мое», но государство это не содействует нисколько его личному благосостоянию. Он не имеет вследствие этой собственности ни больше силы, ни больше ума, ни больше образования, ни главного, что дороже всего каждому животному, — ни больше досуга. Купец говорит: «Моя лавка», «Моя лавка сукоя», например, — и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке, и опять не имеет вследствие этого ни больше образования, ни больше силы, ни больше досуга, а, напротив, меньше. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые называют других людей своими, а эти свои люди сильнее, здоровее и досужнее хозяев. Есть мужчины, которые женщин называют своими, а женщины эти живут с другими мужчинами.

И люди счастливы, главное, тем, когда получают исключительное право только называть какую-либо вещь своею.

Так в первые годы моей жизни были тревожные обстоятельства, заставившие меня сделаться тем серьезным и глубокомысленным мерином, которым я есмь. Первое, моя пегая шерсть, сделавшая меня в глазах людей каким-то выродком, несмотря на мою красоту и силу моего тела. Второе, измена и непостоянство моей матери; и третье, приобретение права конюшего между людьми называть меня своим жеребенком. С одной стороны, я задумывался о несправедливости лошадиной судьбы, сделавшей меня случайно пегим и потому несчастным. С другой стороны, о непостоянстве материнской и вообще женской любви, так сильно подлежащей физическим условиям. И наконец, я вдумывался уже в законы, руководящие той странной породой животных, которых мы называем людьми.

Итак, как бы то ни было, я был уже не свой, а конюшего, так думали, по крайней мере, люди, и вследствие этого меня и лучше кормили, и с весны не отделили от маток, а оставили в общем табуне. Вместо одинокой школьной жизни вместе с жеребчиками-стригунами, я жил в женском обществе и рано узнал любовь. Вязопуриха была старше меня одним годом, мы с нею были особенно дружны; но под конец осени я заметил, что она начала дичиться меня...

Но я не стану рассказывать всей этой несчастной истории моей первой любви, она сама помнит мое безумное увлечение, окончившееся для меня самой важной переменной в моей жизни. Табуны бросились гонять ее и бить меня. Вечером меня загнали в особый денник, я ржал целую ночь, как будто предчувствуя событие завтрашнего дня. На другой день я уже навеки перестал ржать, я уж сделался мерином. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто мне не стало мило, я углубился в себя и стал размышлять. Сначала мне все было постыло. Я перестал уже пить, есть и ходить, а уж об игре и думать нечего. Иногда мне приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать; но сейчас же представлялся страшный вопрос: зачем? к чему? И последние силы пропадали.

Один раз меня проваживали вечером, в то время как табун гнали с поля. Я издалека еще увидел облако пыли с неясными знакомыми очертаниями всех наших маток. Я услышал веселое гоготанье и топот. Я остановился, несмотря на то, что веревка недоуздка, за который меня тянул конюх, резала мне затылок, и стал смотреть на приближающийся табун, как смотрят на навсегда^{61*} потерянное и невозвратимое счастье.

Они приближались, и я различал по одной все мне знакомые, красивые, величавые, здоровые и сытые фигуры. Кое-кто из них тоже оглянулся на меня. Я не чувствовал боль от дерганья недоуздка конюха. Я забылся и невольно по старой памяти заржал; но ржание мое отозвалось грустно, смешно и нелепо. В табуне не засмеялись, но я заметил, как многие из них из приличия отвернулись от меня. Им, видимо, и гадко, и жалко, и совестно, и главное — смешно было на меня. Им смешно было на мою тонкую, невыразительную шею; большую голову (я похудел в это время), на мои длинные, неуклюжие ноги и на глупый аллюр рысдой, который я, по старой привычке, предпринял вокруг конюха.

Никто не отозвался на мое ржание, все отвернулись от меня. Я вдруг все понял, понял, насколько я навсегда стал далек от всех их, и не помню, как пришел домой за конюхом. Я провел ужасную ночь. Я передумал страшно много в эти двенадцать часов; но за это время навсегда решились судьба и направление моей жизни. Все радости жизни навсегда были потеряны; но, несмотря на то, я жил и должен был долго жить, я это чув-

^{61*} В рукописи: всегда

ствовал. Что мне было делать? Как провести эту жизнь? Как заглушить в себе раскаяние в том, что сделали со мной другие. Как в этом, так и во многих других случаях есть только одно спасение для лошади. Это спасение есть труд. Вечный, непрестанный труд с сознанием того, что труд этот не принесит никакой пользы для себя и едва ли другим принесит какую-либо пользу. Но как было трудиться, стоя в деннике? Никто не запрягал меня, а я готов бы был возить воду, ходить по колесу на рушальке. Ожидая этого времени, я стал оказывать свое усердие при каждом удобном случае. Я стал есть, пить и спать, приготовляя себя к труду. И скоро признаки моего усердия увенчались успехом. Меня запрягли; я помню, как в первый раз сам конюший, который воображал, что я ему принадлежу, с толпой конюхов стали запрягать меня, ожидая от меня буйства или противодействия. Они скрячили мне губу. Они обвили меня веревками, заводя в оглобли; а я ожидал только случая показать свою охоту и любовь к труду. Они удивлялись, что я пошел, как старая лошадь. Меня стали проезжать, и я стал упражняться в беганье рысью. С каждым днем я делал бóльшие и бóльшие успехи, так что чрез три месяца сам генерал и многие другие приходили смотреть на меня.

Жеребцов, моих братьев, проезжали на бегу, шаги их вымеряли, выходили смотреть на них, ездили в золоченых дрожках, накидывали на них дорогие попоны. Я ездил в простых разъездных дрожках конюха, но старался.

Один раз ездили Лебеда. Генерал смотрел на часы. Лебедь бежал в две минуты. Он был хорош, горд, благороден ^{62*}. А я бежал шибче его, но никто не обращал на меня внимания и не мерил моих шагов ^{63*}.

Меня продали барышнику ^{64*}.

2-й вечер

Весь этот день лошади почтительно обращались с Хлыстомером, только Нестер по-старому вел себя с ним. Но обращение Нестера было не грубо.

Погода начала изменяться. Было пасмурно с утра и росы не было, но тепло, и муха и комар липли. Чалый жеребеночек мужика, уже подходя к табуну, заржал, и бурая кобылка опять кокетничала.

^{65*} — Будешь рассказывать? — спрашивали у пегого мерина.

— Буду, — отвечал он ^{66*} вздыхая, — но теперь мне грустно. Оставьте меня есть.

Возвращаясь домой в этот вечер, табун наткнулся на хозяина с гостем.

Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две белые пестрые мужские фигуры в соломенных ярких шляпах. Старуха покосилась и, признав хозяина, величественно прошла по дороге. Остальные — молодежь — переполошились, замялись, особенно когда хозяин с гостем нарочно вошли в середину лошадей, что-то показывая друг другу и разговаривая.

— Вот эту я у Воейкова купил, серую в яблоках, — говорил хозяин.

— А эта молодая ворона белоножка чья? Хороша, — говорил ^{67*} гость.

^{62*} Далее было: А что твой Пегашка, бежит? Едет? Ну, пусть, пусть.

[Он] Я обещал. [Но это не повело] Генерал рассердился. — Нужно продать, — сказал конюший и продал меня за 800 рублей тогда на ассигнации.

Купил его гусарский офицер, у которого был старый кучер из дворовых. Кучер был пьяница, офицер был охотник.

^{63*} Далее было: Один раз только попробовали пу<сть>

^{64*} Далее в автографе зачеркнуто: Они говорили, что я принадлежал офицеру.

^{65*} Первоначально: Вечером

^{66*} Далее было: гру<стно>

^{67*} Первоначально: спрашивал

Они перебрали много лошадей, забегая и останавливая. Заметили и бурую кобылку.

— Эта от верховых хреновских осталась у меня порода, — сказал хозяин.

Они не могли рассмотреть всех лошадей на ходу. Хозяин закричал Нестера; и старик, торопливо постукивая каблуками бока пегого, рысцой выбежал вперед. Пегий ковылял, припадая на одну ногу, но бежал так, что видно было, он ни в каком случае не стал бы роптать, даже ежели бы ему велели бежать так, насколько хватит силы, на край света. Он даже готов был бежать навскачь и даже покушался на это с правой ноги.

— Вот, лучше этой кобылы, я смело могу сказать, нет лошади в России, — сказал хозяин, указывая на одну из кобыл; но гость не слушал. Он смотрел на пегого.

— Откуда у тебя эта лошадь?

— Ты взгляни, — говорил хозяин, — ноги взгляни, струна...

— Откуда у тебя эта лошадь? — повторял гость переменявшимся голосом. — Хозяин оглянулся.

— Какая?

Он с удивлением заметил, что гость его с изменившимся лицом смотрел на пегого мерина, на котором ехал табунщик, и гладил рукою его костлявую голову.

— Да что ты? Этот одер-то? Да ну, табунная лошадь какая-то! ^{68*}

— Нет, ей богу, ну две капли воды мой пегий. Ну две капли воды мой Хлыстомер, с которым я в 30-х годах видел столько горя и радости. — И он ласкал его рукой.

Хлыстомер, вероятно, узнал старого хозяина, он закрыл левый глаз и глядел одним правым, и на правом глазу века его нервически дрожала.

Табун ^{69*} отдалился в это время. Оттого ли, что он отдалился, или оттого, что Хлыстомер узнал хозяина, но он попробовал заржать, что он уже давно не делал.

— Видишь, узнал! Постарели мы с тобой, Хлыстомерушка! — грустно сказал гость и, шлепнув его большой рукой по крупу, пошел с хозяином рассматривать других лошадей.

Кроме того никаких особенных событий не случилось. Как только вечером Хлыстомер прошел в свой угол, стал накрапывать дождейчик по сухой соломе, и опять столпились около него. В этот вечер он рассказывал про свое житье вне завода.

— Я был рад, — сообщил он, — когда меня вывели из Хреновой и навсегда разлучили со всем, что мне было родно и мило. Мне было слишком тяжело между ними. Им предстояли любовь, почести, свобода, мне — труд, труд и труд до конца моей жизни.

— Не могу, однако, жаловаться на судьбу, — говорил он. — Мне суждено было испытать радости. И эти радости я испытал именно у этого толстого старого человека, которого вы сейчас видели. Мы были не такие, как теперь. Хотя он был причиной моей гибели, хотя он ничего и никого никогда не любил, я любил его и люблю его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил. Вы понимаете это наше высокое лошадиное чувство. Его холодность, его жестокость, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони меня, думал я бывало, в наши хорошие времена, я тем буду счастливее.

^{68*} Далее было: — Эта! — презрительно и грустно сказал гость. — Это лучшая лошадь в России. Это Хлыстомер. Мой Хлыстомер и вписано: — Нет, ей богу — мой Хлыстомер.

^{69*} Далее было: тронулся

Холстомер.
Посвящается панибрату М. А. Маслову,
(~~Александровская губерния~~)
1861 года.

Глава I.

Всё встало и встало поднималось
небо, море растивалось зоря,
блуждало становилось наставило
рассвет, безжизненные становились
сердце лаская, звучала и... и...
начали подниматься и на баржах,
концы двора чаша... чаша сибиряков
шаром фёркане, была по сонной
и доми сердитая, выжила рождала
спешившие и побуждавшие
за что — то надежды.

— Но! устали, продолжалась
(1) Скоро я буду вдали от вас и вдали
авторитет Маслова (первый автор) Маслова Маслова

ЧЕРНОВАЯ РУКОПИСЬ ПОВЕСТИ «ХОЛСТОМЕР», 1885 г.

Копия С. А. Толстой, с правкой Толстого

Архив Толстого, Москва

гладкие, своего труда, пежины, на ногу, прямую, как стрела, с широким копытом, и на круп, хоть спать ложись^{75*}. За высокие решетки закладывали сено, всыпали овес. Приходил Феофан, оглядывал, трепал и потом^{76*} запирали опять дверь. Часов в 12 приходил опять Феофан, впрягали, мазали копыты, смачивали холку и гриву, малый держал. Феофан выходил красавцем, с задом шире Хлыстомерова, в красном кушаке подмышки, садился, заправлял кафтан, шутил что-нибудь всегда, привешивал кнут, которым почти никогда не били Хлыстомера. Только для куража и говорил: «Пуцай!» И, играя каждым шагом, трогал Хлыстомер из ворот, и кухарка, вышедшая выплеснуть помои, останавливалась на пороге, и мужики, привезшие на двор дрова, тарашили глаза. Выедет, проедет и станет, и пойдут разговоры. Все ждут часа три иногда барина^{77*} — гости пришли.

Сани были камышечные плетеные бархатные, сбруя с маленькими серебряными пряжечками, возжи шелковые и одно время — филе. У кучера ноги в стремена.

Вдруг зашумят в дверях, выбежит во фраке седой слуга:

— Подавай!

Чмокнет Феофан, подъедет, и выходит торопливо небрежно, как будто ничего удивительного нет ни в этих саниах, ни в Хлыстомере, ни в Феофане, который и чмокнет, и изогнет спину, и руки вытянет так, как их, кажется, держать долго нельзя — выйдет князь в^{78*} кивере и шинели, бобровым седым воротником закрывающей румяное чернобровое красивое лицо, которое бы никогда закрывать не надо. Выйдет, побрякивая саблех, шпорами и медными задниками калош, ступая по ковро, как будто торопясь, не радуясь и не удивляясь и не глядя на Хлыстомера, который^{79*} запряжен так, что и не видать, где конец лошади и где начало гужей.

Двинет с Феофаном, и честно, шагом, чуть не рысцой подъедет, станет, покосится на князя и взмахнет кровной головой и тонкой холкой. Князь в духе иногда пошутит с Феофаном. Феофан ответит, чуть оборачивая красивую голову и не спуская рук.

— Ну, Феофан, на твое счастье, коли выиграю, тебе 50 рублей.

— Выиграю, ваше сиятельство. Кому же выигрывать, как не нам.

— Ну, пошел к Д.

— Пфью! — чмокнет Феофан^{80*}, и раз, раз, раз, все шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под передок, поедет Хлыстомер.

— Пади, ты, ей! — И народ сторонится, и останавливается, и шею кривит, оглядываясь на красавца-мерина, красавца-кучера и красавца-барина^{81*}.

Особенно любил я перегнать^{82*} рысака. Когда, бывало, мы издали завидим с Феофаном упряжь, достойную нашего внимания, мы, летя как вихрь, медленно начинали наплывать ближе и ближе. Уже я, кидая грязь в спинку саней, ровняюсь с седоком и над головой фыркаю ему, ровняюсь с седелкой, с дугой, уж не вижу его и слышу только сзади себя все удаляющиеся его звуки. А князь, и Феофан, и я — мы все молчим и делаем вид,

^{75*} Далее было: Потом прих<одил>

^{76*} Далее зачеркнуто: уносил малый овес иногда и вписано окончание фразы.

^{77*} Далее было: спит

^{78*} Далее было: фу<ражке>

^{79*} Далее зачеркнуто: двинет так и вписано: запряжен так

^{80*} Слова Феофан нет в автографе. Вписано Толстым позднее в копии.

^{81*} Далее в автографе вставка на полях: Особенно любил я ~ каждый в свою стору, относительно которой в копии С. А. Толстой помечено: (Вставка; опять в первом лице идет рассказ).

^{82*} Первоначально: любил я встретить

что мы просто едем и что нам дела нет до того, кто встречается на тихих лошадях на нашем пути. Любил я перегнать, но любил я также встретиться с хорошим рысаком. Один миг, звук, взгляд, и мы уж разъехались и опять одиноко летим каждый в свою сторону.

Утро обыкновенно он катал до самого князя, то какую-нибудь из его любовниц. Никогда его не били кнутом ^{83*}. К вечеру князь обедал, потом перепрягали; иногда и сам Хлыстомер возил в театр и оттуда в клуб, к цыганам и на целую ночь.

Один раз князь поехал на бег, вошел в беседку к приятелям. Бежали лошади знакомые: Серый ^{84*}, Лебедь и Вязопур. Они прибежали. Лебедь пришел к звонку. Князь стал смеяться, что в эти минуты его пегашка obeжит.

— Пари 1000 рублей.

— Идет.

Пустили ^{85*} Хлыстомера с Лебедем — понеслись. Хлыстомер без поддужного, на кругах взглядывали. Хлыстомер пришел раньше, хохот и гром рукоплесканий. Хлыстомер пошел тихо, пошатывая головой и хвостом. Сошли смотреть. Все гадкие рожи, покупать. Князь не продал и этим погубил меня.

Князю не повезло. Он выиграл, вышел в кабриолет с мешком серебра. «Пойдем еще». Пошли. Стали играть, все проиграл. Хлыстомер целый день не ел. На другой день любовница уехала с другим. Князь поскакал на Хлыстомере и не догнал. Все пошло в разлад ^{86*}. Его опоили, приехав домой. Он долго болел, его отдали барышнику и кончилось тем, что его купила старушка, ездила все к Николе Явленному и секла кучера. Кучер плакал в стойле. Я тут убедился, что слезы имеют соленый вкус.

Потом старушка умерла. Отдали приказчику в деревню, потом красноярцу ^{87*}. Я ничего не делал. И раз меня выпустили, я пошел осматривать. И заком пшеницы. Я стал есть. Очень приятно. Но я сделался болен. Ноги опухли. Меня продали мужику. Потом купил другой приказчик для табунщика. И вот я здесь.

Все молчало, дождь крапал.

На варке было грустно и пасмурно, особенно для пегого мерина; а в барском доме было совсем другое. К хозяину приехал гость, промотавшийся родственник ^{88*}, дальний дядя и приятель. Теперь они все сидели за вечерним чаем.

^{89*} Жена или любовница, беременная, что очень заметно было по ее поднявшемуся животу, прямой выгнутой позе, по полноте и в особенности по глазам — этим добрым, внутрь кротко и важно смотревшим добрым большим глазам ^{90*}, сидела за самоваром.

Муж только что вернулся с ящиком особенных 10-тилетних сигар ^{91*}, каких ни у кого не было, по его словам, чтоб угостить гостя. Хозяин ^{92*} был красавец лет 25-ти, свежий, холеный, расчесанный, чистенький, дома в ^{93*} свежей, широкой, толстой паре, сделанной в Лондоне. На цепочке

^{83*} Далее было: В обед

^{84*} Первоначально: Доб(рый)

^{85*} Далее было: меня

^{86*} На полях написано: В этот вечер они встретили старого хозяина.

^{87*} В автографе далее: потом объелся пшеницы, заболел, продали мужику. На полях, однако, написан новый вариант этого текста: Я ничего не делал — продали мужику.

^{88*} Далее зачеркнуто: жены и вписано окончание фразы.

^{89*} Зачеркнуто: Хозяин

^{90*} Далее было: разливала

^{91*} Далее зачеркнуто: которыми он очень дорожил и вписано окончание фразы.

^{92*} Первоначально: Муж

^{93*} Далее было: новом платье

были чудные брелоки. Запонки рубашки были тоже редкости bijouterie^{94*}. Борода была Наполеона III и мышинные хвостики напояжены и торчали так, как только могли это произвести в Париже^{95*}. На жене было домашнее платье шелковой кисеи с большими пестрыми букетами. На голове большие золотые какие-то особенные шпильки в густых русых, хоть и не вполне своих, но прекрасных волосах. На руках было слишком много браслетов и колец; но все они были прекрасны.

Самовар был серебряный, сервиз тонкий; лакей, красивый, с пробормом на затылке, в белом жилете и черном фраке. Мебель гнутая и загнутая, обои большими цветами. Левретка, необычайная, тонкая, которую звали необычайно трудным английским именем, плохо выговариваемым обоими, не знавшими по-английски, лежала в углу. Фортепьяно incrusté^{96*} стояло закрытое между цветами. Книг не было.

От всего веяло новизной, роскошью и редкостью. Все было^{97*} очень хорошо, но на всем был тот особенный отпечаток излишка богатства и отсутствия умственных интересов, который можно выразить так: некуда деньги девать. А надо, чтоб и другие жили. Vivre et laissez vivre^{98*}.

Русский^{99*} рысистый охотник, тот, который избирается судьей, который ездит в соболях, который бросает букеты, берет на содержание самую дорогую и т. д. — может быть, такие люди и неприятны бывают; но дело в том, что люди^{100*}, про которых я рассказываю, так очевидно были счастливы, добры от счастья, что сердце радовалось, глядя на них, несмотря на то, что у мужа была французская бородка с хвостиками, а у жены так много ненужных и некрасивых брильянтов.

Приезжий был человек лет 40, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился видимо физически и морально и денежно.

На нем было столько долгов (тысяч 120), что он должен был служить, чтобы его не посадили в яму. Он теперь ехал в губернский город начальником коннозаводства. Ему выхлопотали это его важные родные. Он был одет в военную шинель-пальто мундира коннозаводства. Военный пальто был все-таки такой, какого бы никто себе не сделал, кроме богача, белье тоже. Часы были тоже английские. Сапоги на каких-то чудных, в палец толщины подошвах, очень, может, удобных для ходьбы по лондонской мостовой, но не для устеленных листьями дорог русской деревни. Но уж, видно, так надо было.

Никита^{101*} Серпуховской промотал в жизни состояние в два миллиона серебром и остался еще должен 120 тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредит и возможность почти роскошно прожить еще лет десять. Лет десять уж проходили, и размах кончался, и Никите становилось грустно жить. Он начинал уже попивать, т. е. хмелеть от вина, чего прежде с ним не бывало. Пить же собственно он никогда не начинал и не кончал. Более же всего было заметно его падение в беспокойстве взглядов (глаза его начинали бегать) и^{102*} нетвердости интонаций и движений. Это беспокойство поражало тем, что оно очевидно недавно пришло к нему, потому что видно было, что он долго привык всю жизнь никого и ничего не бояться и что теперь, недавно только, он дошел

^{94*} ювелирных изделий (франц.).

^{95*} На полях: Один материализм — тщеславие, рады показать Серпуховскому. Она не беременна.

^{96*} с инкрустацией (франц.).

^{97*} Далее было: изящно

^{98*} Жить и давать жить другим (франц.).

^{99*} Первоначально: Московский

^{100*} Первоначально: эти

^{101*} Далее начато: Охот

^{102*} Первоначально: заиски

тяжелыми страданиями до этого страха, столь несвойственного его натуре.

Хозяин и жена его замечали это, переглядывались так, что, видимо, понимая друг друга, откладывали только до постели подробное обсуждение этого предмета и, добрые от счастья, особенно ухаживали за бедным Никитой.

Вид счастья его друга и молодых еще более заставлял его, обратившись к своему прошедшему, пасть духом.

— Что, вам ничего сигара, Мари? — сказал он, обращаясь к даме тем особенным, неуловимым и приобретаемым только опытом тоном, вежливым, приятельским, но не вполне уважительным, которым говорят люди, знающие свет, с содержанками в отличие от жен. Не то, чтобы он хотел оскорбить ее. Напротив, теперь он скорее хотел поддаться к ней и ее мужу, хотя ни за что сам себе не признался бы в этом. Но он уже привык говорить так с такими женщинами. Он знал, что она сама бы удивилась, даже оскорбилась бы, ежели бы он с ней обходился как с дамой; притом, надо было удержаться за собой известный оттенок почтительного тона для настоящей жены своего равного. Он обращался с такими дамами всегда уважительно, но не потому, чтобы он разделял так называемые убеждения, которые проповедуются в журналах (он никогда не читал этой дряни), о уважении к личности каждого человека, о ничтожности брака и т. д., а потому, что так поступают все порядочные люди, а он был порядочный человек, хотя и упавший.

Он достал свою сигарочницу.

— У меня есть очень хорошие, попробуй моих, — и в глазах его мелькнул опять страх и беспокойство: не подумал бы его юноша-приятель, что у него нет хороших сигар.

Дама ^{103*} поторопилась отвернуться. Ей ужасно жалко было его. Она знала его еще во всем блеске и, ежели бы он только захотел, могла быть и его ^{104*}.

— Нисколько. Вы смеетесь надо мной, — сказала она и улыбнулась своей красивой доброй улыбкой.

Он улыбнулся нетвердо. Двух зубов у него не было.

— Нет, ты возьми эту, вот еще. Фриц, bringen Sie noch einen Kasten, dort zwei ^{105*}.

Немец лакей принес ящики ^{106*}. Хозяин надавал всякого сорта.

— Ты какие куришь? Крепкие? Эти очень хороши.

Он видимо был рад, что было перед кем похвастаться своими редкостями. Закурив, они продолжали начатый разговор.

Хозяин рассказывал, наивно и добродушно хвастаясь своим богатством и не замечая, как больно это было его гостю.

— Доброхот мне дорого пришелся, я дал за него 5 тысяч, да он сыр. Много голландщины. У меня теперь Лебедь. Какие дети, я тебе скажу.

— Едут? — спросил Серпуховской.

— Ужасно. Нынче сын его взял три приза: в Туле, в Москве и в Петербурге; бежал с Воейковским, каналья наездник сбил четыре сбою, а то бы за флагом оставил.

— ^{107*} Лебедь у меня был. У меня начал. Ты сколько дал?

— Семь.

— Уж это от Воейкова?

— Да.

^{103*} Первоначально: Мари

^{104*} Далее было: Притом же [она стала] ее заняло происходящее в ней.

^{105*} принесите сюда еще ящик, там два (нем.).

^{106*} Так в автографе. В копии позднее Толстым исправлено на: другой ящик.

^{107*} Первоначально: Доброхот

— Будете еще чай пить?

— Нет, я, а ты?

Она встала и вышла, хозяин успел ^{108*} остановить ее и поцеловать. Он как будто растерялся и потерял нить разговора.

— Да, у Воейкова, — сказал он, добродушно краснея.

— Завтра поедем, посмотрим. Мне все хотелось ^{109*} Дубовицких кунить. Да дрянь осталась.

— Он прогорел, — сказал Серпуховской и опять испуганно посмотрел кругом. — Он проиграл Никите 120 тысяч.

— Что, ты не играешь?

— Нет.

— Абаза чертовски играет теперь американские, знаешь?

— Нет.

Он рассказал ему.

— Я уж не играю. Такое несчастье, не можешь себе представить!

Он замолк. Жена ушла. Он оглянулся.

— Чго ж, ты долго?

— Да вот до бегов сам поведу, а потом за границу.

— Будешь ужинать?

— Как вы?

— Мы ужинаем. Только надо раньше.

Фриц накрыл стол. Тоже с штуками: сифоны, куколки на пробках.

Она не вышла. Хозяин все выбегал к ней.

— Нездоровится, знаешь, она беременна.

За ужином Серпуховской выпил много, кроме водки перед... ^{110*}

— Давай выпьем бутылочку.

Они говорили про женщин. У кого какая: цыганки, танцовщицы, французенка, — разорили.

— Ну, что же, ты оставил Кресси?

— Не я, а она. Ах, брат, как вспомнишь, что просадил в своей жизни! Теперь я рад, как заведутся 100 рублей ^{111*}, рад, право, как уеду от всех. В Москве не могу. Ах, что говорить! — он помолчал.

— Славный малый! — подумал хозяин и подлил ему вина.

У Серпуховского были слезы как будто. Он, видимо, рассердился на себя, выпил.

— Ну какой же резвей всех у тебя едет?

Нечего делать было, хоть и не хотел он ответа, а надо было отвечать. Хозяин ответил.

— Из молодых кобыл вчера проезжали без 5 секунд. Хорошо только две лошади бежали, резвее, — Добрый и Полкан.

— Нет, брат, не две, а резвее Полкана и Доброго бежала моя лошадь, Хлыстомер. Ты его не знавал у меня. Да что, ты был мальчишка. Хлыстомер у меня был. Это было в 42-м году, я только приехал в Москву, поехал к барышнику и вижу: пегий мерин. Чудо. Ладов я таких не видал; я купил. Ох, милая была лошадь! Да, Петя, лучшее время мое было с Хлыстомером. Я его разбил и продал его тогда, кажется, за 100 рублей, я заплатил 1000. Лучше я не знал лошади ни ездой, ни силой, ни красотой. Ты слышал, я думаю.

— Слышал ^{112*} про твоего пегого, мы как-то с Воейковым добрались, кто он был.

^{108*} Далее было: уже выскочить

^{109*} Далее было: чистого арабского

^{110*} Так в автографе. В копии Толстым вписано позднее: ужином.

^{111*} Копируя в 1885 г. автограф, С. А. Толстая ошибочно написала: 1000 рублей; ошибка проникла в печатный текст повести и должна быть исправлена.

^{112*} Далее было: Как же, Хлыстомер

— Да и я знаю. Сын Доброго 1-го. Его за пежину отдали с Хренового завода конюшему, а тот его выхолостил и продал барышнику. Таких уж лошадей нет, дружок. Ах, время было. Ах ты, молодость! — пропел он из цыганской песни. Он начинал хмелеть. — Сколько, сколько мне напоминает этот черт Хлыстомер. Мне было 25 лет, у меня было 80 тысяч сер<ебром> дохода; тогда ни одного седого волоса, все зубы, как жемчуг. За что ни возьмусь, все удаётся, и все с Хлыстомером. Кончилось. Помню я, выехал я раз в Москве на бег на нем. Моих лошадей не было. Я не любил их, у меня были кровные генерала^{113*}: Шоле, Магомет. На пегом я ездил. Кучер у меня был Васька, лихой, красавец^{114*}. Бег уж кончился, О. взял приз, мы тут подошли. О. и говорит:

— Серпуховской, когда ты заведешь рысистых?

— Мужиков-то ваших, черт их возьми, у меня извозчик пегий всех ваших обегит.

— Да вот не обегает.

— Обегит, вон у меня пегий заложен, я для редкости у барышника купил, давайте, кто хочет пари? Я предлагаю 1000 рублей.

— Ну, полно врать.

— Я говорю, пари, — сказал Серпуховской тем тоном уверенности силы и чистоты, которым он, верно, говаривал в старину. — С кем хотят бегу.

Вызвались Восик и Сип., назначили день, приехали на бег. Пустили Лебеда и моего. Пять секунд раньше пришел, 1000 рублей выиграл пари. Покупали у меня — не продал. Точно такой, как твой пегий.

Ушел спать один и долго вспоминал ночь проигрыша и молодость, и любовь. «Теперь умирать, хоть бы пришел кто-нибудь. Надо занять или поиграть, или соблазнить ее. Ах я подлец! Подлец!» Он вспомнил Шев., треплящего по плечу, зашел к нему у него просить денег. И говорит: «Я подлец».

На другой день он уехал, денег было мало в кошельке на столе.

Хозяин лежал с любовницей. «Нет, он невозможен. Просил денег, напился». «И за мной ухаживал, у меня просил денег».

Серпуховской ходил взад и вперед.

«Я подлец, застрелиться, нет. Водки».

Ежели <Хлыстомер> вспоминал, то его развлекал Васька. Кинул на него попону и поскакал. До утра он держал его у двери кабака с мужицкой лошадей. Они лизались. Утром он пошел в табун и все чесался. «Что-то больно чешется».

Прошло пять дней. Серпуховской уехал.

Позвали коновала. Он с радостью сказал:

— Короста. Позвольте цыганам продать.

— Нет, собакам режут же. Зарежьте.

Утро тихое, ясное. Табун пошел в поле. Хлыстомер остался. Пришел страшный человек, повел его. Зарезал. Собаки рвут, кобель особенно. Лошади шарахаются.

Прошло несколько месяцев. Хозяин сказал жене: «Можешь себе представить, Серпуховской пьет запоем водку и болен так, что ему, говорят, недолго жить»^{115*}.

^{113*} В копии 1885 г. здесь ошибка, проникшая и в печатный текст: Генерал.

^{114*} Далее было: Заспор(или)

^{115*} Другой вариант окончания повести, относящийся к 60-м годам, но отброшенный и не вошедший в копию, см. в т. 26, с. 483—484 (Тут все продали шарахнулся и полетел).